

ЖИВЯ ДОВЕРЧИВО И ПРОСТО

(О творчестве Виктора Баянова)



По-разному складываются судьбы поэтических миров. Одни, привлекающие яркой внешней окраской, модными ритмами, немедленно притягивают к себе значительную часть читательской публики. Нередко интерес к такой поэзии угасает так же внезапно, как и возникает. Другие поэтические миры, лишённые броской расцветки и звучания, вроде бы и не стремятся привлечь к себе внимание. Но странное дело — к ним у читателя самая верная привязанность. Именно такая судьба у поэзии Виктора Баянова.

Его негромкое слово сразу же пришлось по душе и шахтерам, и сталеварам, и лесорубам. Не только потому, что Баянов тоже рабочий, — поэтическое чувство в его лирике такое же естественное и простое, как и он сам. И еще (очень закономерное явление для «тихой лирики»): в поэзии Баянова не ощущается стремления любой ценой быть «злободневным», «современным»; он не прославляет передовиков производства, не призывает защищать природу, но именно это и утверждает его поэзия — своим духовным настроем, желанием лирического героя «прорваться в будущую Россию» (В. Шукшин).

Первая книжка Баянова «Росы» вышла в Кемерове в 1963 году. (В ту пору ему было 29 лет.) А в 1969 году издательство «Советская Россия» выпускает его «Березовый сок». Через три года в «Современнике» появляется сборник «Томь-река». Затем стихи поэта неоднократно переиздаются в Кемерове, и, надо сказать, в книжных магазинах они не залеживаются.

Виктор Баянов — очень сибирский поэт, в хорошем, не провинциальном смысле этого слова. Он сумел органично растворить «духовные черты» родной природы в чертах лирического героя. Это придает характеру героя особую живость — не суетливую, гармоничную.

Детство, отрочество Виктора Баянова опалены Великой Отечественной войной. Затем были железнодорожное техническое училище в райцентре Топки, служба в Армии. Выросший в крестьянской семье, он привык любое дело делать основательно, на совесть. Свидетельством тому — ордена «Знак Почета» и «Дружбы народов», которыми он награжден за производственную работу. И пусть он, машинист тепловоза, неизменно верен своей городской профессии, все равно душа поэта накрепко привязана к тем родимым далям, где он встречал рассветы «с довоенной береженной удочкой», где много лет спустя, бывая наездами, коротал ночи «на клубничном сене молодом».

И становятся ясными слова:

И вот теперь, большой и взрослый,
Я вижу, что неотделим
От этой теплой, этой росной,
От русской утренней земли.

Закономерно, что главная сила, питающая художественное сознание Баянова, — обостренное чувство «малой родины». Ее жизненным центром стала деревенька Дедюево, что в полусотне километров от Кемерово. Здесь 10 июля 1934 года родился поэт. Как о чем-то очень важном, вспоминает он о родных местах, о своем детстве: «Вон там внизу, по левую руку, голубеет непроходимое коноплянище вперемешку с полынью, непаханое, несеяное. Надергаем коноплю, завернем сноп в дерюжку и ну плясать на ней, а то и палкой дубасить, а потом отвеем на ветру мякину и похрустываем конопляными семечками, забрасывая в рот горстками — сытно, вкусно...»

Здесь закладывались основы мировоззренческого оптимизма, духовного здоровья поэта, безыскусности его характера.

I

Последнее предвоенное лето. Цветение дремучих поименных трав, речка, заросшая тальником, мельница, а за ней — «земляничкой крашены холмы». Небольшое сибирское село живет заодно с природой, от крутого нрава которой зависят во многом думы и чаяния крестьянина, его настроение, состояние души.

Изба, крытая дерном. Трава пронизала и крепко-накрепко опутала изнутри бесчисленными корнями-нитями плотные земляные пласты.

И с этой крыши многоцветной
Под легкий шелест ветерка
Свисает колокольчик летний.

Тот самый российский колокольчик, роняющий в душу едва слышимый звон, что наполняет ее чем-то не то грустным, не то радостным.

А за деревнею родник, где «блестит вода, как в сказочном копытце, в замшелом срубе, вкопанном в межу»:

Кипит родник, воркует голубино,
Прохладой вея на клубничный луг,
Над ним краснеет старая рябина,
Малина буйно разрослась вокруг.

Сколько людей напил — не помнит родник, но вряд ли кто из тех, кто склонял перед ним колени, забыл мгновение, когда, бредя к нему по извилистой тропинке, с гудящей от зноя головой, с пересохшими губами, с трудом сдерживал в себе стучащее кровью в виски желание:

...пить, да так, чтобы не только глотку
Струя воды внезапно обожгла,
А чтоб она текла по подбородку,
Чтобы она за шиворот текла.

И разливалась по жилам прохлада, а вместе с ней — чувство благодарности к этому уголку «тишины дремотной».

Доброта природы незримо вливалась в душу, как бы наделяя доброту человеческую особым качеством — стойкостью, долговечностью. И долго хранят губы ощущение ледяной прохлады, а босые ступни — влажного холодка узкой лесной тропинки, утоптанной множеством ног. И, возвратясь «из каких-то дальних мест» домой, никогда не перепутаешь тот перелесок, откуда бежит неутомный серебряный ручеек, упорно пробивая себе дорогу сквозь густые заросли жесткой, ржавой и острой, как бритва, осоки.

Призвание баяновского родника — крепить в каждом сердце чувство родства со всеми, кто унес в себе хотя бы несколько глотков его свежести, от которой ломит зубы, вкус и запах которой еще долго будешь вспоминать, утоляя жажду где-нибудь за сотни и тысячи километров от отчего края.

Родник роднит вокруг себя не только близкий дуг, стайку берез, одинокую старую рябину — он роднит души всех людей, оставивших где-то рядом на покосах частицу своей молодости, здоровья, радости труда. Он как бы увязывает в единую судьбу многие отдельные судьбы. Вот такая судьба — неотделимая от общей — и у Баянова.

Идти бы мне путем прямым, нешатким,
Свои оставив роднику следы.
И так идти, чтоб ни единым шагом
Не замутишь его святой воды.

И родник — уже не просто крохотный водоем, из которого «пивали деда наши», а емкий символ красоты — истинного, непреходящего в душе человеческой. Эта красота всегда исполнена ощущением молодости. Так человеческая доброта полна любовью ко всему живому. Вот почему в образе лирического героя нет и тени отрешенности или «заслезненности», да и не может быть. В нем слишком много «от прожитой беды», от трудовой крестьянской жизни.

Я помню, как упала лошадь в согре,
Как до района еле добрались,
Как целый час крутил меня фотограф
И добивался: «Мальчик, улыбнись!»

Война ворвалась в детство деревенского мальчика обнаженной суровостью бытия, до времени подтолкнув его к тому рубежу, где горькая правда земли не только проникает в душу, но и осязается всем существом.

...громом расколосось небо,
И, охладив ребячий пыл,
Однажды мне не дали хлеба,
Когда мне так он пужен был.

Сибирское село находилось за многие сотни верст от кровавых пожаров, от ужасов оккупации. Однако водоворот народной трагедии втягивал в себя всю Россию без остатка с ее самыми далекими полустанками и деревеньками, на всех необъятных просторах нашей земли, не щадя хрупкий мир детства, ломая и наполняя его напряженным, пронзительным светом, проникающим в самые глубины неокрепших душ.

Потому и не слабеет горечь пережитого, а становится крепче с годами. Образ прошлого отчетливей, виднее на расстоянии, как и все трудное, *большое* — ведь никакое горе не бывает маленьким. Общая беда как бы уравни-

вает людей в моральных правах, и шестилетний ребенок «дорастает» осознанием происходящего до взрослого. Не съеденный за столом поздравитель, теплый ломоть в его понимании — это тоже фронту подмога. Словно знал он, что в больших тыловых госпиталях, в глубине России «не только ланцет, не только искусство хирурга поднимает на ноги людей. Им — лучший хлеб...» (Советская Сибирь. 1941. 7 ноября).

Как мы ни слабли, как ни вяли,
Не половину и не треть —
Весь хлеб мы фронту отдавали,
Чтобы совсем не умереть.

В негордом «мы» — не только единство понимания смысла «сороковых-роковых», но и единство духа. Наверное, это и дало право назвать войну священной, Отечественной. И — по-новому ощущаешь волнующую силу строк: «Пусть ярость благородная вскипает, как волна». Эта ярость вышла победителем в единоборстве с черной ненавистью тех, кто сквозь оружейные прицелы грохочущих танков смотрел в бескровные лица сибиряков в памятный для России день — 16 ноября 1941 года у разезда Дубосеково. Словно незримой нитью, были соединены души женщин, детей, стариков в глубоком тылу с душами тех, кто, «как в пропасть, шагнул из окопа». Именно отсюда у человека из народа обостренное чувство сопричастности к большой трагедии. Скупые ощущения вкуса «картошки и саранки» в «полусиротские года» — из самых глубин крестьянского быта, его насыщенных основ.

Я за войну привык к заплаткам.
Обнов выпрашивать не смел.
И путал горькое со сладким,
Поскольку сладкого не ел.

Смысл этого честного — «сладкого не ел» — особым образом выражает становление характера человека, формирование его внутреннего мира. Обостренное чувство добра и зла, как черного и белого, отметало в сторону другие, промежуточные, неопределенные категории, которые были непростыми, изменчивыми, а значит, в детском понимании — ложными, вызывающими внутренний протест. До поры созревало редкое человеческое свойство — не путать горькое со сладким в жизни — не путать правду с ложью.

«Сладкого не ел» — это и состояние духа, где царят стихия откровения, ясности и понятности во взаимоотношениях друг с другом. Потому так беспощадно преследо-

зались и изгонялись в ту пору в мире детства притворство, ехидство, зазнайство, зависть. Эта неостывшая, полная внутренней мятежности сила обретает с годами несуетливую уверенность и достоинство.

В военные и послевоенные годы «не хватало до зарезу отцовской ласки и любви». И эти пустующие места занимали без боя безрассудная отчаянность, страстная вера в справедливость, желание защитить или спасти кого-нибудь. И хотя поэт и признается: «Я рос характером — железом», все-таки это «железо» было не мертвое, не холодное, а податливое и ковкое. Слишком велики были потрясения военного лихолетья, чтобы душа могла «затвердеть» — для этого необходима эмоциональная замкнутость в самом себе. Но через детские души проходили токи радостей и бед взрослых. Как отцовские пиджаки, деревенским пацанам не по росту были те заботы и невзгоды. Ведь что ни день в селе, «то дома смерть, то та же боль с войны». Единственным учителем и другом была мать, каждое духовное движение ее ловила на лету чуткая ребячья душа. У женщин сибирской деревни, где сообща грузили тяжелые мешки, вывозили на поля навоз, где трагедия одного двора могла в любое время повториться в другом, была особая судьба. Как справедливо сказал Федор Абрамов на VI съезде писателей СССР: «...это она, русская баба, своей сверхчеловеческой работой еще в 1941 году открыла второй фронт, тот фронт, которого так ждала Советская Армия».

И немалая доля этой тяжести легла на слабые плечи детей и подростков, разделивших со взрослыми не только физические, но и моральные испытания.

Село связано было как бы одной нервной системой — она постоянно напрягалась то от неожиданной, случайной радости, то от чьей-то большой беды, которая приходила в избу маленьким страшным квадратиком грубой оберточной бумаги желтого цвета: «Ваш сын... гвардии рядовой... в бою за Социалистическую Родину...» И самыми ранимыми клеточками этой нервной системы сибирского села были души детей и подростков — пристально-тревожные, вбирающие в себя весь белый свет «в печали и остуде».

Ведь что ни день, он жизни не иначе,
Ничуть не осветляет небеса.
По черным — в избах голь да горе плачут,
По красным числам — те же голоса.

Но русской женщине-матери всегда, и в годы лихолетий, было присуще молчаливое чувство достоинства хо-

зайки, у которой все должно быть не хуже, чем у людей, в полном порядке. Ее умение беречь домашний очаг — это способность сохранять в избе уют, здоровую, непринужденную атмосферу — ведь здесь живут ее дети. Не позволить отзывчивости, доброте спрятаться в недоступные уголки их сердец — святой долг матери. Ее уроки доброты — вечные, главные, незабвенные.

Виктор Баянов, вспоминая те годы, словно ставшие понятнее и ближе, говорил в предисловии к одной из своих книжек: «Под окнами шелестела листва семи белоствольных берез. Во время войны было трудно с дровами. Но мать не срубила ни одной из них. Только весной нам, детям, разрешалось собирать березовый сок. «Пусть шумят, а то отец с войны придет и дома своего не узнает», — говорила она».

Бережливая, внимательная доброта стала одной из основ мироощущения человека из народа в поэзии Баянова. Хранить все живое, что тебя окружает, — и есть любовь самая истинная.

В те годы разгорался в душе маленький и чистый русский огонек. И мечталось среди тревог великих:

...вырасту побольше
И мно-ого людям сделаю добра.
Дедку, что бородой белее марли,
Дров наколю, в поленницу сложу.
Болезненной и слабой тетке Марье
Весною огород загорожу.

II

Чем рапимее сердце, тем больше накапливается в нем *разумного, доброго, вечного*, в недрах которого и рождается способность не ожесточаться, как бы ни были тяжки испытания и потери. Такая способность — достояние национального самосознания, оно живет донными ключами незамутненного нравственного чувства. Того самого, что размывает, рассасывает в душе больные места: злопамятство, безверие.

Словно прозрачная струя, живущая по своим неразгаданным законам, это чувство не смешивается с помутневшей от бед трагической стихией в человеческой душе во времена всенародных потрясений. Его животворная сила всегда спасала атмосферу человеческого «я» от вредных примесей: рассудочности, рационализма, самокопания.

Музе Виктора Баянова присуще глубоко личное гражданское дыхание:

Мне много слов запомнилось о зле,
Жилось тревожно, сиротно и вдово,
Я только о родной своей земле
Ни разу слова не слышал худого.

И словно перекликается с этим негромким, проникновенным голосом другой — тоже искренний и благодарный:

Вот говорят, что скуден был паек,
Что были ночи с холодом, с тоскою, —
Я лучше помню ивы над рекою
Да запоздалый в поле огонек.

(Н. Рубцов.)

Способность к доброй памяти — органичная черта русского характера, одухотворенного кровной близостью родной природы (не случайно ее называют великодушной). Как бы ни был страшен «гром, рассылающий гибель и слезы» (Н. Рубцов), ломающий цветы и деревья, — утихнет буря, и вновь, как прежде, чисты говорящие уста природы.

Очищение страданием дорого стоит человеческой душе, но, «каким бы ты холодом не был продут», спадает мрак и остается то, что неподсудно и вечно: белая береза с обломанной нижней веткой, «хлебно-ягодный дух на отрадной земле» и мать, которая, кажется, никогда не спит. Так рождается добрая память. Она питает нравственное сознание соками родства, Родины, родного. Память как бы одухотворяется родством, а родство закрепляется памятью:

Хожу среди лесных чащоб,
И, хоть дышу легко и юно,
В моей душе живет еще
Печаль военного июня.

Чувство гражданственности в русской душе — полная внутренней красоты сила. Это чувство — сокровенное, чуждое «героическому». Его истоки там, в потрясенном войной мире. Зарождаясь, оно вбирало в себя и суровые отзвуки человеческих трагедий, и желание делать хорошее где можно и сколько можно.

В таком чувстве есть что-то и от женского молчаливого терпения переносить все тяготы выпавших на долю испытаний, и от мудрой уверенности в победе и спокойствия стариков, знакомых с «германцем» еще в первую мировую, и от стойкости знакомого с детства прямого и напряженного клена («даже легкие поклоны ему даются нелегко»). Есть в нем и что-то незапятнанно-юное от неистраченной любви девочек-невест, которых кто-то, прощаясь навсегда, так и не посмел поцеловать.

Какие же силы питают незамутненные родники устойчивой и категоричной в вопросах добра и зла русской души? Наверное, прежде всего — это большое и простое чувство к обжитому, родному уголку России, где каждая травинка, кажется, знакома тебе по имени, где каждый холм или перелесок знает тебя в лицо, где люди окликают тебя по отчеству...

Сторона любимая, приметная,
У тебя приметы есть предметные.
Где-то есть такие ж кедр с соснами,
Где-то есть такие ж зимы с веснами,
Горы есть со снеговыми шапками
И поселки с трубами и шахтами.
Только нет нигде чего-то главного,
По цене одной лишь жизни равного.

В этом утверждении своего, как «чего-то главного», — осознанное чувство незаменимости родного и близкого. Оно хранит, оберегает любовь от необязательных порывов, от ослепления ее чем-то ярким, броским, но чужим.

Такая категоричность — свидетельство истинной приверженности родной земле, какие б рупора ни голосили, как бы ни было хорошо там, где нас нет.

И знакомый поселок с трубами и шахтами, и встречаемые кедр с соснами — не только приметы нашего времени, это приметы внутреннего настроения, приметы особенности мироощущения человека, в кровь которого вошла и морозная пыль вековых кедров и черная пыль шахтерских поселков. Красота стороны любимой и честный, преобразующий ее труд — две созидательные силы, обостряющие духовное зрение Баянова до ревнивой влюбленности в сибирский характер природы, который продолжается в характере живущих здесь людей.

Чем глубже в человеке чувство Родины, тем меньше в нем эгоцентризма. Эта мысль во многих стихотворениях поэта. Чтить свое родство — значит чтить все лучшее, что есть в твоих земляках. А это значит еще — быть верным самому себе. Вот почему такой тревогой наполнено стихотворение «Не думать ни о чем теперь бы...»

...У лесистой низкой гривы
Тебе, шагающему в рост,
Вдруг бросит чибис: «Чьи вы? Чьи вы?» —
Один-единственный вопрос.
Он не поет, не красноречив,
Но сразу, как у кромки рва,
Тебя тревожно остановят
Те немудрящие слова.
Они стоят тебя оставят

У голубеющих излук,
Они припомнить вдруг заставят
Поволглый за деревней луг.
И домик, где ты пел и плакал,
И речку, где сидеть любил,
В которой ты мальчонкой плавал,
Которую ты в жажду пил.
Поднявшись над раздольем нивы,
И в радостный и в горький час
Тревожный чибис: — Чьи вы? Чьи вы? —
Завидев, спрашивает нас.
Чтоб помнить мы не перестали,
Под нашим небом вль чужим —
В каком краю мы вырастали,
Какой земле принадлежим.

Нет, не случайно остановит кого-то «един-единственный вопрос». Он заставит задуматься не только о том, откуда ты родом, но и о том, насколько соответствует твой теперешний духовный настрой знакомым с детства широте лугов и полей и чистоте синего неба над головой. И если, скажем, равнодушен ты к песням отцов и дедов, если они не шевелят в тебе *отрадного мечтанья* и ты пронически воспринимаешь их открытый, ясный смысл — есть в чем повиниться перед бесконечными волнами трав...

Образ неприметной птицы чибиса — это образ совести, образ внутреннего судьи. Потому-то такой скрытой силой полны «те немудрящие слова». Психологически точно сказано: «как у кромки рва... остановят». Если идти дальше — не помутнеет ли речка, «которую ты в жажду пил», не станут ли стеной перед тобой высокие луговые травы?.. Природа, по В. Баянову, очень чутко воспринимает фальшь, неискренность, духовные пустоты.

Есть у А. Суркова строки: «От недоброго... глаза осы-
паются роз лепестки». Та же восприимчивость и у чибиса, — по замыслу поэта, есть от чего ему потерять покой и спрашивать нас «и в радостный и в горький час» одно и то же: «Чьи вы?» А всегда ли мы уверены, что носим в себе свое, главное (мысли, мечты, идеи)? — вопрошает поэт читателя. Всегда ли мы откровенно воспринимаем чуждое нам, как чуждое? Вспоминается такой случай.

Однажды в рабочем общежитии мне до полуночи пришлось слушать чересчур громкие современные эстрадные песни, доносившиеся откуда-то с нижних этажей. Только умолкнет один «бард» тут же «заводят» другого. Не так-то просто было разобрать слова, содержание. Только ритм, нервный, лихорадочный — стрессовый ритм нашего времени — проникал в незакрытую форточку. И вдруг где-то

совсем рядом пробилося: «Пусть он вспомнит... девушку простую... пусть услышит... как она поет...» Пели за стеной — негромко, но внятно — молодые, почти детские голоса.

Что заставило их петь в этот час — неважно. Однако песню они не испортили ни смехом, ни дурачеством. Вкладывали в нее душу и чистоту молодых сердец. Может, потому, что цели *свое*? Не один год прошел с тех пор, но помню и сегодня, почти физически ощущаю: ясная, прозрачная мелодия солнечным потоком пробивается сквозь громоздящиеся друг на друга ритмы, вряд ли способные вызвать глубокое, а главное — искреннее ответное чувство.

Вот такая же, идущая от сердца, сокровенная, неназойливая мелодия наполняет стихотворения Виктора Баянова, незримо царит в его поэзии:

Мне тепло здесь, как дома,
Хоть и гость вроде я.
Что ни хата — знакома,
Что ни тропка — моя.
Мне тепло здесь от речи,
От бедовой, живой.
От реки, от заречья,
От травы луговой.

Эта взволнованная сила, наполняющая душу, — надежная гарантия любви ко всему не залетному, не заемному, а родному. И проясняется в сердце то, что дарует ему жизнестойкость, веру в лучшее:

Впредь, каким бы ты холодом ни был продут
И какая бы слякоть ни пада на пажити,
Знаю я: дни остуд отойдут, пропадут,
А вот этот навеки останется в памяти:
Хлебно-ягодный дух на отрадной земле,
Так просторно вокруг, осиянно, рябиново.
И орут петухи где-то в близком селе,
И на небе ни облачка нет. Ни единого.

Нет ни облачка в духовном сознании того, кто привязан всем своим существом к отчей земле.

Вот дедушка Игнат из стихотворения «Он нас встречал ворчливо...» Нет у него на всей земле родни, но есть другое — обостренное чувство любви к своей земле, своей деревеньке. Оно роднит Игната с каждым односельчанином.

От немощи и духовного упадка спасает его труд — искусство плести корзины:

Он прут пускал то колоском пшеницы,
То змейкой вокруг березова ствола,
А то цветком. Любая кружевница
Ему бы позавидовать могла.
К земной красе невыразимо чуток,
Да и свое выдумывать мастак,
Все лето он из прутьев делал чудо
И по деревне раздавал за так.
Стучал легонько в раму или ставень,
Уже натужно, тяжело дыша,
И говорил, корзинку рядом ставя:
«Прими подарок, добрая душа»...

В поэзии современных авторов существует немало ультрамодных, оригинальных, смелых художественных образов. Однако как меркнут они перед теми, что словно вырастают из самой природы народного мироотношения. Доживающий последние дни старик свои слабые силы расходует для того, чтобы чужому человеку сделать подарок!

Видеть в неродном человеке существо родное — драгоценная способность народного характера. Ведь кровные узы — не самые прочные на земле. Есть связь куда более прочная. Об этой связи говорил Гоголь: «Отец любит свое дитя, мать любит свое дитя, дитя любит отца и мать. Но это не то, братцы: любит и зверь свое дитя. Но породниться родством *по душе* (выделено мной. — Н. К.), а не по крови, может только человек...» Остается добавить — чтобы произошло такое родство, надо чтобы в душе породнившихся была высокая концентрация того *общего*, что и служит основой человеческого единства. Бронзовый ли свет сосняка, неизъяснимым теплом растворившийся в сердце, крик ли журавлей, оставшийся в груди холодной льдинкой, — все это связывает баяновского старика с любым из его земляков теснее семейных уз. Сила такой связи ничем не измерима...

И есть глубокий смысл в том, что, плетя корзины, старик пускает прут «то колоском пшеницы, то змейкой вокруг березова ствола». Он лучше других чувствует, понимает: образы родной природы не стареют, не ветшают. И, чем они «старее», тем яснее их высокий смысл. Так не ветшает и образ «малой родины» в сердце старика. Он впитал в себя ее красоту и мечтает о том, чтобы каждый любил свой край так же, как и он сам. Чтобы его любовь к ней передалась другому.

В картинах родных мест видит лирический герой неиссякаемый источник прекрасного, омолаживающего душу:

Как будто на базарные обновы,
На санный путь, на черные леса

По целым дням дивились стариковы
Немало повидавшие глаза.

«Санний путь», «черные леса» — чему тут дивиться? — скажет иной любитель экзотики. — Старо, как мир». Да, древние виды. Древняя красота. И в то же время — молодая, нестареющая. Радует человека так же, как и сто, и двести лет назад. Ибо эта красота — частица общей красоты Родины. Чем древнее виды, тем больше накоплено в них животворящего духа прекрасного. И протягиваются из прошлого к сердцу человека живые нити. Чем больше их, тем богаче внутренний мир человека. Вот из таких нитей, кажется, и соткано сердце баяновского дедушки Игната. И понятным становится его стойкость, нежелание мириться с хворью. Он не просто жил, а «мечтал о недалеком лете», чтобы снова делать любимое дело. В этом терпеливом постоянстве, утверждает поэт, и есть подлинные основы человеческой стойкости, духовной прочности. Неприметно и скромно прожил он свою жизнь. Но кто скажет — сколько людей согрел он своей «душою, светлою, как луч» (Н. Рубцов), сколько оставил в сердцах людей памяти о себе? *Нравственный запас*, которым щедро поделился дед Игнат с людьми, будет выручать их в минуты духовных потрясений...

Не есть ли подвижничество деда Игната — негромкий, неприметный, но истинный — не будем бояться этого слова — подвиг? Подвиг длиной в человеческую жизнь.

Поэт, от лица которого ведется рассказ о дедушке Игнате, верит, что тот вот-вот заглянет в его комнату (хотя «давно уж без него рассветы брезжут»).

Признаться, мне подарка и не надо,
А только б знать — достоин ли его.

Автор замечает, что старик ожидал конца зимы не иначе, как «нарядившись в шубу и пимы». Не «надев», а именно «нарядившись». И обычная одежда приносит простому человеку радость, поднимает светлое, праздничное настроение...

Показал поэт и его неприхотливость, равнодушие к комфорту, достоинство характера, не позволяющего требовать для себя каких-то особых льгот. А ведь у него, несомненно, имеются трудовые или боевые заслуги (не может их не быть у честного человека, пережившего не одну войну, не одно лихолетье). Такие люди не любят напоминать о своих заслугах, а тем более кому-то рассказывать о них. Не слава венчает, а скромность — такому девизу верен простой человек в поэзии Баянова.

И невольно думаешь: а ведь кое-кто из представителей современного «младого племени» склонен меньше всего замечать в своих «предках» черты подлинной духовности и частенько смотрит на них с высоты собственной «эрудиции», «образованности»... Нет, автор не тоскует о патриархальщине, а стремится удержать, сохранить образ животворящей духовной красоты, вдохнуть ее в нашу современность.

Смотрит поэт на древнюю фреску. На ней — потемневший от времени лик. Но глаза, выписанные «рукой Феофана Грека», — «суровые, огневые». Это глаза русской совести, глаза судьи. И никуда от них не уйти:

Жил я всегда делами.
А хорошо ли жил?
Был я богат друзьями,
А хорошо ль дружил?
Порочил честное имя?
Вытапывал в поле рожь?
Перед глазами такими
Ни капельки не соврешь.

Не соврешь, ибо они — глаза самой Руси, России, Родины.

III

Характер истинного труженика был и будет воплощением совестливости, самоотверженности: его работа — не халтура, а дело чести. Такая работа создает в душе надежную идейно-правственную основу, на которой и образуется главнейшее качество — простота. И так важно для поэзии — как и для литературы, для искусства в целом — показать обществу «скрытые», глубинные источники, которые не дают зарастать полноводной реке современной жизни тиной делячества, потребительства, иждивенчества.

В современной поэзии сделано немало, чтобы понять характер «простого» человека-труженика. Тему эту называют «рабочей», «производственной», однако данные термины вряд ли отражают правственную — главную — суть вопроса.

Поэтому необходимо приблизиться к истокам *внутренних* сил человека, взглядеться в сокровенные глубины его души. Именно этот угол зрения, мне кажется, является наиболее верным и эффективным, когда поэт пишет образы людей труда. И дело здесь не в том, насколько масштабен поэтический мир того или иного автора. Говоря словами Н. А. Добролюбова, «для литературы, для самого

общества гораздо важнее вопрос о том, на что употребляется, в чем выражается талант художника, нежели то, какие размеры и свойства имеет он в самом себе».

Потому-то я и обратился к творчеству поэта, не увенчанного пышными лаврами, но в то же время сумевшего отразить в своей поэзии наиболее существенные черты характера простого человека, по своей сути — народного, национального характера.

В поэзии В. Баянова нет броских производственных сцен, образов героев передовиков или картин трудовых авралов. Поэт показывает людей труда в их общении с природой, друг с другом, в моменты духовных испытаний. Ведь труженика можно узнать не только по его отношению к работе, но и по способности любить Родину, сеять добро, ненавидеть зло, искренность.

«Родиться под сибирским небом мало — необходимо стать сибиряком», — утверждает поэт. Необходимо иметь прочные нравственные основы этого непростого «ремесла» — стать не лишним на твердой, рабочей земле.

В крепком пожатии рук лесорубов, которые «корявы, что кедровая кора», в умении таежных охотников попадать «белке точно в глаз», в особой хватке всех, кто своим трудом преобразует Сибирь, — по-крестьянски трезвое чувство того, что все должно совершаться в этом мире без лишней суеты, то есть правильно и справедливо. Такое чувство превыше славы, покоя и гордыни.

Психологически важен не процесс труда как таковой, а его нравственное содержание, его духовность как воплощение моральных качеств народного характера, сибирского в частности.

...все они шахтеры, машинисты,
Сибирь из тьмы поднявшие рывком,
Слова не рассыпали, как мониста,
И в грудь свою не били кулаком.
Не выходили напоказ, раззванивая...

Какая, казалось бы, связь между духовной красотой и трудовыми буднями: у станка, в шахте, за рычагами тепловоза? — Самая кровная! Едва ли не любой труд (конечно, согласно пословице: «Всякое ремесло честно, кроме воровства»), выполняемый хорошо и со знанием дела, не случайно назван добросовестным, ведь он накапливает в душе человека добро и совесть. Сам характер такого труда — его непрерывность, зримая созидательность — морализующей стихией входит в характер труженика, начисто обтачивает, как наждаком, в его душе все заусеницы: зависть, спесь, чванство — все то, что

«выпирает», а значит, и сковывает естественность и непосредственность духовных устремлений. Разве можно красиво и эффектно держать в руках грохочущий отбойный молоток под нависшим над головой многотонным угольным пластом или становиться в позу, утопая в глубоком снегу перед стремительно летящим на тебя подрубленным кедром? Нет, не всякого человека такой труд сделает прямодушнее, но любое двуличие или неискренность обнаружится непременно. Рано или поздно.

Именно эту старую истину однажды я так и не смог доказать одному гуманитарии (впрочем, знающему толк в своей интеллектуальной работе). «Выходит, — чем больше выточешь болтов или гаек, тем будешь честнее, или — чем больше свалишь деревьев — добрее?» — иронизировал он, давая понять, что только интеллектом прежде всего красен человек.

Конечно, интеллект — это очень важно, но он не может заменить собой духовной ясности, чистоты устремлений и помыслов. Ведь истинная красота человека — в единстве слова и дела, мысли и поступка. Можно быть асом голых мозговых операций, ювелиром остроумия и ни к чему не обязывающих бесед и при этом всю жизнь скрывать — чего же ты на самом деле стоишь. И очень хорошо, что в неинтеллектуальном труде не утаишь, как пила в мешке, беспочвенного стреляния мыслями, пустопорожности фраз.

Эту идею утверждает Виктор Баянов в своем творчестве, рисуя образы людей труда. Вот откуда у поэта горделивое чувство, когда он говорит о работе плотников:

Забудешь речку с вязкой тиной
И аромат земных паров —
Забудешь все, любуясь дивною
Работой старых мастеров.

И — очень точный рисунок «остановленного мгновения» труда:

...яростно в брусок
Врубается топор отточенный
От сапога на волосок.

Красота труда не может не вызывать в душе человека ответной красоты — совестливости, бесхитрости. Эту мысль художественно выражает поэт, изображая строящих мост плотников во время перекура:

Но увидав, как с грузным кузовом
Машина тронулась в обезд,

Они потупятся конфузливо
И подниматься станут с мест.

От плотников зависит нормальное течение жизни в округе. А проломы и дыры моста не залатаешь красивыми словами. Вот почему «они потупятся конфузливо». В этом смущении как раз и проглядывает прямая, не терпящая компромиссов душа лирического героя, воспитанная простым, нехитрым трудом.

Деревенские плотники умеют ценить непреходящие радости, откликаясь на них всем существом. Об этом сказано очень точно и лаконично: «Докурят самокрутки с жадностью...» Человек с ленивой и праздною душою вряд ли способен так обостренно чувствовать «вкус жизни».

Радость труда — это эмоциональная форма, в которую воплощалась в душе труженика красота земная: будь то синева родимых далей или близкое басовитое жужжанье мохнатого потревоженного шмеля над лиловой головкой цветущего клевера. А рядом — березовая роща. Если зайти в нее пасмурным днем, то покажется — а может быть, это и на самом деле так, — что здесь гораздо светлее, чем там, в открытом поле — светлее от белых-белых березовых тел. Мир здесь словно состоит только из белого и черного, причем черное — короткие поперечные линии на стволах — как бы растворено в этой всепоглощающей белизне. Ведь зеленые кроны где-то вверху, а под ногами лишь бледноватые поникшие стебельки да упругий слой поблекших прошлогодних листьев... И ничто, пожалуй, не выражает образнее и вернее атмосферу русской души, чем белая березовая роща. В традиционных образах народного творчества правда — всегда белая, зло — черное. И, конечно, добро побеждает зло. Между черным и белым всегда противоречие.

Категоричность такого мироощущения исключает возможность «подделки» желаний, поступков в угоду обстоятельствам. Отсюда — широта и глубина духовного зренья, лиризм чувства простого человека.

Народное мирозерцание опирается на непосредственное восприятие, чувственное осмысление мира, который каждой знакомой поляной, межой, перелеском и просто тихой деревенской улыбкой радует или печалит сердце. Застопет по-осеннему июльский ветер, всей своей дождливой тяжестью ложась на землю, — и сразу становятся немое небо, деревья, дома; сердце словно тоже старается сделаться меньше. А выглянет солнце — носятся стремительно по мутным ручьям оголенные пацаны с таким ощущением, какое может быть, наверное, только у ласточек, май-

жающих высоко над головой. А за деревнею в лугах и колках — задорно и молодо начинают вжикать литовки, оживленно стрекочут сенокосилки, и на лицах людей — теплая радость...

Издревле дыхание природы с детства входило в кровь и плоть человека пронизывающей прохладой предрасветного тумана и влажным запахом луговых трав в почном... Она, эта связь, крепла в любви — необходимости жить с природой одним дыханием, — кто сам учился косить траву не для забавы, знает, как важно сохранить ритмичность вдохов и выдохов (ритмичность — неотъемлемое свойство природы), соразмерную промежуткам между взмахами косы. В подобном сокровенно-личном единении с природой — неиссякаемый заряд какой-то необыкновенной ясности, лада духовного настроения.

Поэту, собственно, и не нужно было перевоплощаться, что-либо перенимать или заимствовать из жизни сельских тружеников. Об этом он прямо говорит в стихотворении «Машинист Иван Петрович»:

Сачковать — у нас нет такой моды,
И не лодырь, не хлюпик какой —
Рос в деревне в военные годы,
С малых лет на работе мужской.

Благодаря деревенскому труду, поэт еще в детстве как бы впитал в себя ее живые краски. Это дает ему право и на такое признание:

И оттого мой чуб белесый
И зелень легкая в глазах.

Однако было бы неверным полагать, что Виктор Баянов — «поэт деревни», хотя он и говорит в каждом стихотворении о природе. Поэт, будучи сам рабочим, не мог обойти вниманием труженика-горожанина. В стихотворении «Машинист Иван Петрович» (где автор, собственно, рассказал о том, как он, деревенский паренек, начинал свою «городскую» биографию кочегаром в годы войны) создан живой портрет старого машиниста.

Не жалел учитель ученика: «хмурил брови, поглядывал косо». А однажды «ехидно зашел» песенку о кочегаре: «Я собою интересен и не стар». Каково было слушать эту песенку целомудренному сельскому пареньку, у которого и без того «обмирала душа полевая от конфуза на каждом шагу», а от усталости «выпадала лопата из рук»? Когда юный кочегар освоил секреты мастерства, все равно придирался «черт паровозный». Как ни старался ученик —

«соль на рубашке. Топку вижу я даже во сне», — не давал ему Иван Петрович «ни минуты отдыха», «ни единой побрякки». Не говоря уже о похвале. Лишь как-то раз — молча — взял «чистую ветошь» и «машину подраить помог». Невдомек было подопечному, в чем тут дело.

Но однажды, можно сказать, случайно, подошел к ним генерал, начальник железной дороги, и поинтересовался: «Как она, юная смена?» И тогда ответ Ивана Петровича прозвучал для молодого кочегара, «будто гром среди ясного дня»:

...о нем, кроме доброго слова,
Ничего я сказать не могу.
Полагаю — не зря обучали.
По старанью — другим не родня...

Мудрость педагогического метода машиниста в том, что он главную роль в воспитании духовных качеств представил труду, который и ограничивал личность ученика.

Так открылась душа старого мастера, — душа добрая, щедрая. Такие люди зачастую и грубоваты на вид, и, говоря современным языком, «некоммуникабельны». Они судят о человеке по главной сути — по его отношению к труду.

Человек труда в поэзии В. Баянова свободен от чувства пренебрежения, превосходства. Уроки русской души — это прежде всего уроки кровного товарищества. Вполне закономерно, что в его поэзию органично вплелись интернациональные мотивы.

Молча держишь махру и кресало,
Поседель, как горы, бобыль.
Может, вспомнил горянок-красавиц,
Тех, которых когда-то любил?
Не для них ли с запасом толкана
И с мечтою о жарких ночах
Ты пудовую тяжесть капкана
Через горы таскал на плечах?

И вздыхаешь ты горько, без фальши,
Оттого, что по горной тропе
Зверь уходит все дальше и дальше
И за ним не угнаться тебе.
В море света над древней долиной,
Стариковской кручиной томим,
Стынешь ты на вершине орлиной
И завидуешь внукам своим.
И глядишь неотрывно и зорко
Из-под смуглой ладошки худой,

Как уходят в рассветную зорьку
Поезда с таштагольской рудой.

(«Старому шорцу»)

В. Баянову, знающему цену своему труду, как бы виден насквозь этот чужой труд. Нелегкое охотничье ремесло поэт показал не только как средство существования, но и как смысл жизни. Без труда нет ни радости, ни удовлетворения. Поэт сумел понять мировосприятие старого шорца, потерявшего способность активно трудиться: для него еще дороже стала природа, она превратилась в нечто недостижимое и сказочное — как в детстве. Вот почему он видит не просто знакомое небо над долиной, а «море света». В. Баянов, хорошо зная уклад русской семьи, ее быт, ценя в нем основательность, постоянство, умеет понять и иной образ жизни. Более того — ему дорого и близко в чужой жизни все, что дарит человеку радость и счастье. Отсюда — незазойливое проникновение в интимную жизнь старика, прикосновение к его былой мечте «о жарких ночах», о горянках-красавицах. Особенность мировосприятия шорца, своеобразие, индивидуальность его характера, утверждает поэт, обусловлены образом жизни старика. Чем удачливее был труд, тем удачливей и любовь. Одно неотрывно от другого. В нем — таком далеком прошлом — и оставил старый шорец свое не похожее ни на чье счастье. В. Баянов сумел почувствовать и показать эту непохожесть, индивидуальность и раскрыть перед нами мир непонятной и немного таинственной души шорца. Душа эта, однако, будучи открытой и простой, не замкнулась в своих печалях, она как бы устремлена в будущее — вслед за поездами, уходящими «с таштагольской рудой».

Поэт не говорит открытым текстом о внутреннем состоянии старого шорца, провожающего взглядом состав. Но оно, настроение, чувствуется в точных деталях. «Неотрывно и зорко» — значит, со скрытым волнением, с мыслями о том, в какие руки попадет руда. Ведь для старика это не просто груз или порода, а прежде всего земля, политая его потом, отчая земля, частица родины. Но, видимо, щедрая душа старика свободна от недоверия или подозрительности, коль поезда уходят не куда-то, а «в рассветную зорьку»...

Есть в старике шорце глубокая любовь к своей земле, тревога за ее судьбу и неиссякаемая вера в ее светлое будущее. Все это роднит его с русским дедом Игнатом, заставляет думать о том, что люди, кровно привязанные к

«малой родине» — каждый к своей, — всегда близки по духу.

Огни рассыпались в лесу.
Огни, ну что мне делать с вами?
Как будто в дно шальной Мрас-Су
Вбивают золотые сваи.

Откуда у лирического героя это восхищение «чужой» природой? Секрет, наверное, в том, что любящий свою землю не может быть равнодушен ко всему, что происходит и за ее пределами. Чувство сопереживания сближает людей вопреки расстояниям, границам. Оно везде одинаково. Вот стихотворение «В морозящее утро». Простая старушка шорка из глухого угла провожает одного «из шестнадцати ртов... — сына в город учиться».

Лодка все удалялась
От избушки в дыму.
И волна ударилась
О крутую корму.

Вот кричит она: — С богом...
И глядит на него.
На лице ее строгом
Не прочесть ничего.
Только руки ослабли,
Только брови свела,
Только светлые капли
Покатились с весла.

Очень точно выражает состояние матери символический рисунок двух последних строк. Его можно назвать: *печаль моя светла*. Этот свет — не внешний, он откуда-то из глубины многострадальной души — попробуй выпнестовать шестнадцать ртов. Образ шорской матери получился по-настоящему ярким, индивидуализированным, — отличным от других женских образов в поэзии В. Баянова. Долготерпение, сдержанность, способность стойко переносить лишения — эти качества вызывают в памяти классические образы русских женщин-тружениц.

Русский характер всегда отличался способностью по-братски воспринимать другие, порой такие не похожие на него характеры. Виктору Баянову довелось служить в группе советских войск за рубежом. Здесь он воочию убедился в том, что языком объединяющим, сплачивающим может быть только язык дружбы, язык доверия и взаимного уважения. Этому научила его «малая родина». Чем дальше он находился вдали от нее, тем сильнее казалось, «будто самая росистая по утрам у нас трава», что

нет ничего милее «речки с вязкой тиной» и дорожке низенькой двери, в которую нельзя «пройти без низкого поклона». Однако думы о родине никогда не застили духовного зрения. Оно всегда находило и здесь красоту и доброту. «Средь тюрингских обложных туманов» лирическому герою кивают «дружески сосновые вершины». Вместе с товарищами-сослуживцами поет он песню, которая словно выносит поющих «на волжский стрежень». И вместе с ними на этом стрежне — шофер другой страны «подтягивал баском».

Было хорошо в минуты эти,
Лица молодели и цвели.
И хотелось, чтобы все на свете
Вместе с нами пели как могли.

Характерно, что чувство интернационализма в поэзии В. Баянова идет скорее от сердца, чем от ума. Кажется — а может, это так и есть? — с ним он родился на свет, выпитал его с молоком матери. Любя все русское, вдохновляясь духовным богатством своих земляков, поэт стремится поделиться своей любовью со всеми, кому незнакома русская культура. Культура различных народностей и наций едина, ненавязчиво утверждает он, ибо душевный уклад любого народа-труженика имеет одни и те же основы — совесть, внутренняя скромность, нравственная крепость.

IV

В военные и первые послевоенные годы В. Баянов был свидетелем жизнестойкости женщины в сибирском тылу. Отсюда — его глубокое уважение к ним, которое он пронес через все творчество.

Много лет ее я знаю,
Ею злая долюшка,
Как вода та ледяная,
Выпита до донышка.

Надо, став едва влюбленной,
Свянуть тоньше веточки
И, встречая почтальона,
Ждать годами весточки.
Надо много в зной и грозы
Той водицы выплескать.
Надо прежде вдовьи слезы
Все до капли выплакать.
Вот идет она с ведрком
В светлом платье простеньком,

Будто тонкая кедерка
По таежной просеке.

Каждой клеточкой осязает «немолодая маленькая женщина» холодок таежной просеки, ей, как в детстве, приятно «мять густую травушку». И она негромко напевает:

Из колодца вода льется,
Вода волноватая...
Сама белая с лица,
Любила черноватого.

Откуда берется задорная, звонкая струна там, где, казалось бы, все сгорело дотла? Но в том-то и дело, что взгляд бесхитростной души направлен прежде всего не в себя, он не привык долго быть со своими болями — он идет изнутри, стремясь к единению с миром. Народная мудрость гласит: кто чужой радости не рад, тот сам себе враг. Врожденное умение подключиться к радости ближнего, к праздничным мгновениям окружающей действительности спасает женщину от духовного старения, от опасной болезни — «обытовления» характера в стенах равнодушия. Потому и отдыхает душа на людях, *на народе*, где-нибудь на покосе, когда в дружном мелькании грабель, в едином строю собственная печаль как бы ложится на всех поровну, и уже почти не чувствуешь ее — настолько она становится легка.

И текут годы. И завыванья вьюги, и сверканье воробьиных ночей, и шорохи грибных дождей, и шелест пожухлых трав — все сливается в сердце в один тревожный и протяжный мотив. Наверное, он и дает силы расправить крылья этой нехитрой песне, что есть всегда про запас у русской женщины — такая же необходимая в минуты печали, как охапка березовых поленьев в долгий осенний вечер.

Ощущение безыскусного тепла вырастает у нее в волнующее, живое чувство. Оно размывает любые плотины рассудочности, стремясь убрать со своего пути все то, что потворствует духовному застою, успокоенности. Может быть, это чувство и дает женщине силу «ждать годами восточки», не кляня злую долюшку, хранить память первой любви. Нет, не проходит в душе ощущение юности, молодости.

Вряд ли подозревает простая деревенская женщина о том, что именно стремление сохранить в себе навсегда чудо неистребимой веры придает жизни особый смысл и значение. Ведь не поглощенность практическими интересами, не удовлетворение собственных прихотей и стра-

стей, не погоня за призрачным счастьем («наша жизнь — лотерея, не бери пустой билет») ведет человека к духовным вершинам. Созданный самим человеком идеал вбирает в себя все то лучшее, что удалось почерпнуть в общении с людьми: веру в справедливость, добрую надежду, предчувствие лучших перемен.

Человек с «сильными» страстями и нестигаемой волей может сделать свою жизнь плоской и бессмысленной, если нравственная почва в его душе обезвожена рационализмом, практицизмом. Перефразируя слова поэта, можно сказать: рационализм в одну телегу впрячь невозможно с идеалом. Это — две противоположные по своей нравственной сути стихии. Вот почему жизнь индивидуалиста может превратиться в роскошный, застланный дорогими коврами склеп, в котором похоронены красота живой человеческой души. Жизнь же с идеалом — постоянное совершенствование внутреннего мира, стремление к единению с людьми, с их радостями и горестями. Тому пример — судьба «маленькой женщины».

Истоки ее самоотверженности, может быть, как раз в этом ставшем обыденным самопожертвовании, в обостренном состоянии нравственного сознания, оберегающего образ любимого, солдата-освободителя. Конечно, вряд ли думала она о том, что он, поднимаясь в атаку, может, «шептал, как молитву, далекое имя ее» (А. Твардовский). Но сила духа — как раз в неразмываемости духовного русла, в основании которого — преданность, верность. Одной из таких живых основ и была любовь простой, скромной девушки из далекого сибирского села. И вспоминаются строки Михаила Исаковского: «Все, что было загадано, в свой исполнится срок — не погаснет без времени золотой огонек».

Идут годы. Но такой характер остается неизменным благодаря постоянной устойчивой «погоде» внутреннего мира. При такой «погоде» в душе как бы высвечиваются, обнаруживаются и обезвреживаются сомнения, страхи, искушения. В народе говорят: кушанья узнаются по вкусу, а святость — по искусу. Незакатные, негаснущие лучи первой любви проникают в самые темные, затаенные уголки души, где любит гнездиться безверие.

Такому характеру свойственно полное отсутствие «железной воли» — подобного рода воля обволакивает холодом отчуждения человеческого «я», внушает иллюзию избранности, превосходства, разжигает ощущение освобожденности от моральных рамок. Наивная, неискушенная, всеранимая душа русской женщины проникнута чувством

множества «я», множества чужих печалей и радостей, увязанных в одно личное.

О таком типе женского характера сказал Н. А. Добролюбов: «Ничего нет в нем внешнего, чужого, а все выходит как-то изнутри его; всякое впечатление перерабатывается в нем и затем срастается с ним органически». Такая душа жива именно своей неспособностью к содеянию зла.

Мягкость, наивность характера обладает редким свойством излучать доброту, а она, зрея и сгущаясь, с годами образует особую атмосферу. Мягкая душа точно гасит в ней личные трагедии, не давая им вырваться на волю, обжечь живущих рядом...

Говорят: сердцем и соломинки не перешибешь; не перешибешь чью-то ложь, хитрость, подлость. Но движение сердца всегда мгновенно, его интуиция — точнее, дальновиднее операций рационального рассудка. Сердце «маленькой женщины» всесильно еще и потому, что его питает нравственная энергия коллектива. К нему напряженными нитями протянулись сотни других женских сердец, таких же открытых и простых.

И словно встают из-за баяновских строчек ее глаза — цвета военного времени — очень усталые и строгие...

Искренним и беззащитным перед нахлынувшим чувством выглядит лирический герой — в нем нетрудно разглядеть черты самого автора:

Я любимой пел о кленах, ивах,
Звал ее неведомо куда.
Но девчата смотрят на красивых —
Я красивым не был никогда.
Был невзрачней всех в ребячьей стайке.
И, когда с другим ушла она,
У моей веселой балалайки
С горьким всхлипом лопнула струна.

Когда прочитал в первый раз эти строки, подумал — сколько в них человеческой скромности, той, что дается с рожденья. Она — тоже своего рода талант. Ни жалоб, ни осуждения. Лишь только: «С горьким всхлипом лопнула струна»...

Лирический герой не пытается возвысить себя за счет упрёка, не упивается собственным страданием. В его душе другое — извечное подспудное чувство русского человека, чувство собственного несовершенства («как бы я хотел быть лучше, а не получается»). Сознание этого «несовершенства» лишает лирического героя практического взгляда на происходящее. В этом и сила и слабость

народного характера. Есть в нем нечто превыше расчета и стремления к собственному благополучию — способность жить, все принимая, что есть на свете. Нет, это — не слепая покорность судьбе, а природное умение быть нравственно на высоте.

В другом стихотворении лирический герой, возвратясь из дальних мест, узнает, что его милая замужем. Но в его сердце нет мстительного чувства («И еще спрошу без зла: //По какому правилу// Праздники себе взяла, //Будни — мне оставила?»). Да, именно самое лучшее и доброе видит прежде всего в женщине поэт. Как тут не вспомнить слова В. Белова из его выступления перед читателями в ЦДЛ: «Я хочу, чтобы человечество делили не на мужчин и женщин, но главное — на добрых и злых». То есть чтобы к оценке поведения любого человека подходили прежде всего с этических позиций.

А какой выгодной темой могла бы стать для иного автора такая «конфликтная ситуация». Для Баянова — не это важно. Его герой беспокоится о благополучии близкого человека — как будто о родной сестре, выданной замуж без его ведома:

Тропки-стежки у нее
Самые ли торные?
Белостенное жилье
Самое ль просторное?

В. Баянов видит в женском характере доброту как преобладающую силу и еще — способность созидать. Любовь, семью, лад. Поэт ценит в женской душе особую способность «свои не помнить годы», повинуюсь движениям своего участливого сердца:

То детскую радостью вспыхнешь —
Совсем не узнаешь тебя —
То вдруг присмиреешь, притихнешь,
Косынку свою теребя.

И вспоминается занесенная по крышу снегом деревенька, где теперь бываешь наездами и где тебе, незнакомому, тоже незнакомые женщины в теплых полушалках растревожили душу обычным словом «здравствуйте», идя торопливо навстречу. Как будто ты для них — не просто приезжий, случайный встречный, а старый знакомый, которого они восприняли со всей человеческой непосредственностью и участием. В суетливом шуме городском, среди равнодушного многоликого потока, среди разноцветного мелькания пальто и дорогих мехов неизвестно отчего

вдруг встанут перед тобой их обветренные, загорелые лица с этими бесхитростными тихими глазами, а сердце будет подтачивать что-то теплое, щемящее...

V

Здесь, наверное, самое время поговорить о постижении поэтом «секрета» жизнестойкости сил добра и их побед над силами зла.

Ах, что со мною, что со мною?
Мой быт — не ягода с куста.
Нет-нет да за моей спиной
Шепнут: «Святая простота».
Бывает, встретят и похвалят,
И за меня поднимут тост.
Но тут же тоненько ужалят,
Мол, не поймет — уж больно прост.
Всему с улыбкою внимаю,
Молчанье трезвое храня,
Хоть их, быть может, понимаю
Поглубже, чем они меня.
Иду, спешу к заветным вехам.
Слова чужие бьют, как нож:
Когда ты станешь человеком
И простоту в себе убьешь?
Я не шумлю, я не лютую,
А в думах трудное, свое —
Не как убить ее, святую,
А как бы сохранить ее.

«Святая простота» — звучит усмешкой в устах незримых судей поэта. Что же они могут противопоставить ей, простоте: науку эффектно выражать свои мысли, артистично вести беседу, адаптироваться в любой среде или хладнокровно прикидывать — какая будет выгода от состоявшейся встречи? Или — умение отбрасывать в сторону «несовременное», «устаревшее» понятие *откровение*?

И создается порой приятная «интеллектуальная» атмосфера негласно узаконенной фальши, поддельно-участливого внимания друг к другу, а вместе с этим — некая общепринятая модель человеческих взаимоотношений, нивелирующая личность. Именно против «стандартизации» характера и выступает поэт.

Баяновский «человек из народа» подкупает своей непосредственностью — ведь он не захотел играть отведенную ему роль в этом спектакле. Наверное, он молчал невпопад и говорил про другое. Конечно, его «тут же тоненько ужалят», сочтут за человека недалекого. А чтобы тоненько ужалить, красиво и ловко поднять тост, не нуж-

но обладать добротой, — ей тесно в душе себялюбивой, ошутанной помыслами интриг; доброта попросту задышится в ней от недостатка воздуха — искренности, непосредственности, но ей легко в душе того, кто «уж больно прост».

Вот такие мысли возникают, когда, задетый за живое, еще раз отметишь про себя: в интимном, глубоко личном лирическом чувстве В. Баянова не меньше энергии, чем в иных публицистических обличительных строках. И трагизм здесь не внешний, а внутренний, психологический. Лирический герой, как бы не замечая никого вокруг, весь ушел в свои переживания. Так и видишь его в пустой комнате, где он сидит за столом, подперев руками голову, «тяжелую от невеселых дум»: «Ах, что со мною, что со мною?» Человек не считает, что на его трагедии сошелся клином белый свет, — конечно же, есть беды и пострашнее. Это — беды живущих рядом людей. Ибо для чего же, для кого хранить ему свою простоту, как не для них?

Почему так отстаивает поэт святую простоту? И действительно ли она — святая? Здесь важно отметить, что богатство лирической мысли поэта во многом обусловлено тем, что в его творчестве органично воплотилась народная эстетика. Само понятие *простота* наполнено глубоким этическим смыслом. Оно — родственное понятиям *прощать*, *простить* — освободить душу от вины, проступка, то есть сделать ее простой. Недаром, расставаясь, просят прощения за обиды, желая избавиться от тяжести вины, содеянного греха, чтобы вновь обрела душа чистоту, незапятнанность — *простоту*. Потому и называли в старину расставание более точным, отражающим нравственное содержание этого понятия, полузабытым ныне словом — *простины*. Как много в нем сердечного, открытого чувства!

Простой человек издревле — бескорыстный, беззлобный, лишенный всего, что заслоняет, застит простор духовного зрения (не случайно слова «простор» и «простота» — родственные). И конечно же, вместилищем простоты может быть лишь добрая душа.

У доброты всегда простое лицо, она идет налегке; зло, обман любят рядиться в «добрость»: из кожи лезут вон, чтобы казаться загадочными: их поймут — и все пропало. В народном понимании справедливость и правда только там, где «все доверчиво и просто». Ибо в ней, в простоте, — в растворенном виде — нравственное здоровье. Конечно, если простоте, как и честности, не хватает доброты —

«она всего лишь мертвая вода» (Н. Рыленков). В ней, доброй простоте, — корни жизнелюбия, жизнестойкости души, ее способности оказывать сопротивление натискам моральной скверны, «спеша к заветным вехам». Простоте никак не свойственно чувство самосохранения, подозрительности; наоборот, ей присуща какая-то безоглядная доверчивость. Вот почему ее «слова чужие бьют, как нож» — без промаха, хладнокровно. «Когда ты станешь человеком?» — вопрошает незримый противник. Но вот вопрос — каким?

Что же вызывает чувство враждебности у желающих видеть «человеком» того, кто «уж больно прост», кто «всему с улыбкою внимает»? Наверное, она — правда, которая всегда на устах у лирического героя, не владеющего искусством лжи и притворства, ибо только ложь требует нарочитости, неестественности, то есть непростоты, в выражении эмоций и мыслей.

Поэта интересует в человеке не мелкая, обывательская правда (он нелюдим, молчалив), а правда большая, рабочая (он трудолюбив, открыт, пелукав, всегда готов прийти на помощь). И эти слова отнюдь не случайны: «их, быть может, понимаю поглубже, чем они меня». Лирический герой не становится в позу обиженного, не пытается обороняться или приспособиться к окружающей среде: в любой простоте есть какая-то хорошая снисходительность к чужим недостаткам. И еще — «неразмываемость» своего, сокровенного, личного. Настоящей личности чуждо актерство в человеческих взаимоотношениях. Ведь с каждой новой ролью обязательно деформируется нравственное ядро собственного «я». Влезая в чужую оболочку и сбрасывая ее потом, человек теряет с каждым разом частицу своего, неповторимого. «Простота есть главное условие красоты моральной», — учит Л. Толстой. Быть простым — значит быть свободным от пут самовлюбленности, самомнения, от всего того, что сковывает человеческую откровенность, его устремленность к правде, справедливости.

Мне думается, очень неплохо, если какой-нибудь молодой человек поднаторел в освоении проблем современных философских учений, или уверенно оперирует идеями Сенеки, или непринужденно цитирует Сартра. Но, когда на вопрос: «Что такое простота?» — он глубокомысленно отвечает: «Простота — это глупость» — почему-то очень его жаль. И снова поневоле приходит мысль о необходимости надежной связи между накопленными знаниями и любовью к людям. Ведь без нее — такой связи —

бой интеллект легко может стать орудием зла. Интеллектуальная жестокость — это, как мне кажется, самый опасный вид жестокости, ибо она берет на вооружение все лучшие достижения людей и... обращает их против человечества. О том же молчаливо кричат старые площади и улицы городов и деревень Европы, навеки хранящие недобрую память о тех, кто предавал их огню и глению, равнодушно поправляя пенсне и листая тисненые золотом томики Шиллера и Гете...

Главная духовная красота простого человека в том, что его внутренний мир свободен от эгоцентризма, он считает себя равным любому другому человеку — каким бы «маленьким» или «незнаменитым» он ни был.

VI

При чтении Баянова меня ни на минуту не покидает ощущение пристального, по-хозяйски внимательного взгляда поэта. Это сказывается на всем образном строе, на каждом образе, где — ничего режущего глаз, назойливо-изменчивого, поражающего взор и воображение оригинально-модной окраской. Художественным образам этого поэта присуще свойство необходимости, незаменимости. Так в хорошем крестьянском хозяйстве не держат ничего лишнего, во всем свой порядок и смысл, все здесь на своем месте: голик у порога, Шарик — в конуре, рябина — под окном, вьюга — в печной трубе, домовая — за печкой.

Вот всего лишь две строфы, взятые почти наугад, — психологическая картина детства:

На обезлюдевшей окраине,
Где два холма, как два горба,
Вовсю воронами ограена
Моя мальчончья судьба.
Весна.
Хрустит ледок, продавленный
Зайндевелым дном ведра.
И лихо пляшут на проталинах
Густые синие ветра.

И твердо стоят в едином лирическом строю простые и (так и хочется сказать — крепкие!) ясные образы, делая его предельно плотным, лаконичным. Сквозь такой строй не проползет прихотливая надуманность, не прощмыгнет и экстравагантная, бойкая банальность. Это — образ родных холмов, не случайно напоминающих горбы — столько видели они женских, напряженно-согну-

тых, сутулых спин в полях, на лугах, в январскую стужу и сентябрьскую хлябь; это — образ «мальчиночьей судьбы», потрясенной бескровными роковыми волнами войны, катившимися из-за Урала, через всю Сибирь. Каждый образ предельно доступен, понятен: поэтическое чувство, заложенное в нем, «доходит» до читающего в одно мгновение — не нужно «тратить время» и нервы на его разгадывание. Тут же явственно слышишь, как «хрустит ледок, продавленный зашпиделым дном ведра». Видишь достоверную подробность: «лихо, пляшут... густые синие ветра».

Герои произведений Баянова наполняют своим чистым дыханием его поэтический мир — здесь «русский дух», здесь пахнет Россией, здесь извечное стремление объединить в себе нравственную красоту природы. Поэт словно пытается растворить в себе «дух» каждого стебля, дерева, знакомого с детства холма. Отсюда — в каждом стихотворении поэтическое чувство взаимности, неразрывности судеб человека и природы, которые как бы сливаются в одну общую.

Мы знаем очень много. Это верно.
Мы мудрость накопили за века.
Но отчего грустна у речки верба
И отчего рябина так горька?

Уеду я в деревню к тем рябинам
И спрошу, не ради злой молвы,
У девушки, обманутой любимым,
И у седой стареющей вдовы.
Мне кажется, они ответят верно,
Как не ответят книги за века, —
И отчего грустит над речкой верба,
И отчего рябина так горька.

Не так просто заставить по-новому засветиться традиционные образы русской лирики, когда тут же приходят на ум строки стихотворения И. Сурикова («Что стоишь, качаясь, тонкая рябина...»), но Баянову это удается.

Читаешь, и кажется, что нити и твоей судьбы переплелись с нитями, протянувшимися между грустящей над речкой вербой и обманутой девушкой; между горькой рябиной и стареющей вдовой. Это очень наша, очень русская печаль — заразительная, наводящая «так много дум» — тех, что не из головы, а из сердца. Печаль светлая, настраивающая на духовно-родственные, лишённые

двусмыслия взаимоотношения. И становится понятным, что особенность художественных образов поэта органично обусловлена его способностью открывать в них второе, нравственное дыхание. Поэту для этого нередко достаточно одного, как бы мимолетного, жеста, но он безошибочен, точен, правдив: «Колокол на плахе// Прост, прямостоен и велик»; «Почти ложатся на пески, //Живущие легко и гибко// Молоденькие тальники». А вот «моральный облик» реки Томь:

Ты себя не берегла,
Ленью не позорилась!
Погляжу — берега
Каменно-мозолисты.

Многие думы поэта, неспешно продуманные в тишине, насыщены прежде всего идеями нравственными — во все времена главными в русской поэзии.

Станет небо холодным навесом,
Дождь — под стать запоздалым слезам.
Оттого, что поверишь наветам,
Не поверив любимым глазам.

В органичном по своей сути сравнении — «дождь под стать запоздалым слезам» — дыхание фольклорной стихии, русское слово точно вырастает из самой природы, согласного мира деревьев, птиц и зверей. Народная мысль как бы освещена изнутри естественным светом метафор, отшлифованных самой природой крестьянского быта. Поэт умеет видеть их: «капли падают звеня, то орлом, то решкою», «чеканились месяцы-перстни», «гостил июль хмельной да кудрявый».

Народные образы очень органично вошли в поэтический мир Баянова: «если брода не найду — перейду по радуге»; «вся как будто налита медово-ягодным наливом» (о женщине); «но не пал я перед ней, как дубок подточенный». Поэзия Баянова полна глубоким дыханием лирического чувства и одновременно пронизана здравым смыслом, трезвостью и объективностью рассудка.

Кивая ветеркам залетным,
Подсолнух все смотрел юнцом —
Был тонкошеим и зеленым
С рябым обветренным лицом,
Его потоки солнца грели,
Дождями падала вода.
И семечки все зрели, зрели
И наливались, как года.

Еще для них не сделан заком...
Средь мелких и несрочных дел
Ты понадеялся на завтра,
Ты оглянуться не успел,
А за плетнем уж, громко споря,
Роняя серый пух в репы,
Подсолнух твой легко и скоро
Вылущивают воробы.

И сразу веришь в подлинность легкомысленного, «несерьезного» характера подсолнуха, который запанибрата с не менее легкомысленными ветерками, тоже не имеющими ни пристанища, ни определенного рода занятий (чего стоит слово «залетным»). Очень точно передан задиристый вид («с рябым обветренным лицом») и, главное, «мироощущение» самого подсолнуха — каждым своим зеленым листом осязающего физическую тяжесть, весомость дождей — именно «падала вода», норовя обломить хрупкий черенок широкого, в ладонь, листа. Да, именно «потoki солнца», а не лучи; потоки, отвесно падающие вниз плотной, густой теплой массой. В народном понимании крепкая шея говорит о выносливости, жизнестойкости, взрослении. И, конечно, у такого тонкошеего подсолнуха и не может быть какой-либо горделивой, исполненной чувством достоинства посадки «головы», она безвольно клонится из стороны в сторону, «кивая ветеркам залетным». Мы узнаем, принимаем этот лирико-психологический портрет, верим сразу же первым впечатлениям от встречи с ним. И совсем неожиданно и вместе с тем естественно проступает сквозь лирическую ткань стихотворения житейское беспокойство — предостережение: «Ты пронадеялся на завтра, // Ты оглянуться не успел». В образе подсолнуха, как матрешка в матрешке, — образ человека, прождавшего с моря погоды всю жизнь «среди мелких и несрочных дел».

Образ подсолнуха полон особой поэзии узнавания человеческих недостатков, поэзии общедоступного смысла, которой дышат русские притчи, сказки, басни. Не случайно приходят на ум известные строки: «Ты все нела — это дело, так поди же попляши!» Такое созвучие — свидетельство присущего народному мировоззрению насмешливого оптимизма, духовной молодости.

Эти качества делают открытой поэзию Баянова для животворящих сил, которыми богаты классические образы русской поэзии XIX века, — неувядаемые плоды дружества «младенческой ясности» духа и безыскусности

ума. Поэт не открывает для нас никаких новых истин — но наполняет их своим, личностным чувством. Успех такого «омолаживания» во многом зависит от близости авторского мировоззрения мировоззрению народному, наделенному неистребимым оптимизмом.

Перечитывая стихотворения В. Баянова, долго находишься под обаянием его непринужденного, как бы льющегося самим собой слова.

Когда засвищут не синицы —
Метель забьется о плетень,
Тогда мне часто будет снится
Березовый июльский день.

Нет и следа тревоги в этих строках. Тонко чувствуя природу и как бы заряжаясь от нее спокойной мудростью, лирический герой ощущает себя частицей одного большого мира, который вечно жив и бесконечен. В этом чувстве есть такая обнаженность и открытость, что не сомневаешься — любая чужая беда будет воспринята лирическим героем как своя.

Во многих стихотворениях Виктор Баянов, кажется, намеренно стремится приглушить готовое вспыхнуть трагическое чувство:

Говорят, что годы улетают,
Не найдешь, в каком они краю.
Годы не летают и не тают,
Остаются навсегда в строю.
И с тех пор, как я в дорогу вышел,
Даже если тучи надо мной,
Я спокоен, я все время слышу
Их дыханье за моей спиной.

Почему поэт не стал останавливаться на трагедийной разгадке своих раздумий? Ведь не только потому, что он — чистый лирик. Дело здесь в особой скромности лирического героя, высокой духовной культуре. Отсюда — эта кажущаяся невозмутимость. Поэт проникает в суть происходящего, не разрывая, не деформируя его внешней, эмоциональной оболочки. Ведь при разложении на составные любая красота разрушается. Так, разрезав яблоко пополам, всегда легче исследовать его строение, «внутренности», но при этом безжалостно губится цельность, гармония единого.

Виктор Баянов дает возможность читателю самому почувствовать необычайность обыденного, неоднознач-

ность «рядовых» событий. Ведь известно, что одно из самых глубоких ощущений, которые испытывает человек, это ощущение тайны. Подобным ощущением наполнено это стихотворение. «Я спокоен...» — но мы-то чувствуем, чего стóит такое спокойствие, сколько потребовалось внутренней энергии, чтобы вот так просто и мудро сдерживать напряжение пережитого. Это — не поэтический трюк, а умение добиваться максимальной концентрации чувств, воплощая их в строгие формы.

VII

Поэт ни в чем не отказывается от нового в современной жизни — остро чувствуя свои социальные, исторические корни, он наполняет этим чувством поэтические образы. Глубокое понимание своих истоков, яркое ощущение своего *изначального* сближает Виктора Баянова с поэтами «смоленской школы».

Вспомним Михаила Исаковского:

Какого ж здесь искать мне чуда,
Моя родная сторона!
Но я твой сын, но я отсюда,
И здесь прошла моя весна.

То же отношение к своим истокам и у Николая Рыленкова:

Как мне родных полей не знать,
В них и любовь моя и сила,
Меня грудным ребенком мать
С собой на жатву приносила.

Нет, Баянов не подражает и тем более не копирует признанных мастеров — видение мира, восприятие у него свое. Корни же его поэзии тоже уходят в глубинные пласты народного быта, труда.

Родственные черты творчества Баянова и поэтов «смоленской школы» не на поверхности, а в глубине, в характерах лирических героев, в их чувствовании мира. Такое подобие — всегда в пользу любого автора, оно свидетельствует не об ученичестве или недостаточно развитой индивидуальности голоса, а о широте мышления, естест-

венности лирического чувства, живости, наполненности поэтической мысли.

Вслушиваясь в напевные, раздумчивые строки, глядясь в богатую цветовую гамму его художественных образов, понимаешь, почему в начале творческого пути Баянова упрекали в подражании Есенину. Пристрастный критик может отыскать в его ранних стихотворениях похожие образы, краски.

От туманного молозива
Река белым-бела.
Клены в зорьке светло-розовой
Купают купола.

(1963)

Или:

Злой ветер яро треплет кроны,
Сдирает пышные меха...
Да разве ветреному клену
Надолго рыжая доха?

(1964)

Но эти образы — а их у Баянова было очень немного — найдены и выработаны самостоятельно. Приверженность традициям русской классической поэзии во многом определила его поэтическое мужание, помогла избежать экспериментаторства, оригинальничания, неизбежного для поэтов, недооценивающих значения традиций. В его стихотворениях — открытая душа простого человека, тонко чувствующего «настроение» родной природы.

У реки рябина вянет
Чистая и строгая.
Кто б ни шел — пройдет не глянет,
А проходят многие.
Я не знаю — тут паветы,
Мелкая ли ябеда,
Но никто с багряных веток
Не срывает ягоды.
И стоит она, страдая.
Под веселой зорькою,
И такая молодая,
И такая горькая.

Своеобразие, художественную значимость — и наряду с этим злободневность — творчества Виктора Баянова нельзя, на мой взгляд, понять по-настоящему, если не

принимать во внимание важнейшие особенности его лирики: она близка к живой разговорной речи, свободна от туманной и привлекательной оболочки, скрывающей у иных модных поэтов подлинный смысл их творений.

Самобытный русский поэт Ксения Некрасова утверждала, что «если послушать, как разговаривают или письма пишут русские люди, так целые куски речи или письма можно без поправления вставить в главы поэм». Этот язык достаточно жизнестоек, чтобы растворить в себе все заемное, наносное, подобно роднику, самоочиститься от вредных примесей.

«В современной поэзии не существует «чистых», «незамутненных» художественных образов, — вспомнились мне слова одного молодого критика. — Все они так или иначе испытали на себе влияние «неродной» культуры». Тогда я не нашелся, что ответить; теперь же совершенно уверен, что важен совсем не этот вопрос — существуют или не существуют «незамутненные» образы — а иной: отчего происходит их «замутнение»? А дело здесь в самом человеке, в его духовном сознании: для какого-нибудь бюрократа или карьериста от литературы нет принципиальной разницы между словом родным и заимствованным, ибо слово для такого «художника» — лишь средство для достижения своих индивидуалистских целей. И наоборот, человек (пусть это будет даже ничем не знаменитый художник), который, говоря словами Николая Заболоцкого, «свято верует в животворящий, полный разума русский язык», — он не только бережет родное слово от порчи, но и заимствованное наполнит *русским духом*. Такой художник, не лишенный «эстетического стыда», всегда стремится избежать всего искусственного, вычурного, новомодного.

Нет, он не станет гнать из своего творчества слова иностранного происхождения. Для него главное, чтобы ничто не искажало *русского склада*. Ведь сказано навеки верно: язык — душа народа.

В связи с этим поистине бесценным для современной поэзии является творчество тех авторов, в художественном сознании которых с наибольшей полнотой отразилось народное миропонимание. Естественно, что при такой постановке вопроса нас интересует не широта поэтического русла, а глубина, непосредственность, естественность человеческого чувства, чуждого по своей природе индивидуализму, духу избранности. Всему тому, что неизбежно несут в себе заимствованные понятия, ритмы, которые

еще предстоит акклиматизироваться, врасти и стать органичной частью национальной культуры. Именно поэтому так важен для нашей современности любой ручеек живого родного слова — в любом уголке нашей необъятной отчизны.

Да, лирическому чувству В. Баянова иной раз не хватает широты, полноводности, а поэтической мысли — дерзости. Но поэзия его свободна от надуманности, поэмы — этих родимых пятен провинциальности. Невелик этот мир, но есть в нем то драгоценное, свое, что еще предстоит освоить, осмыслить, оценить. Слово поэта заставляет задуматься о культуре человеческих взаимоотношений, о неписанных законах общения, поднимая сокровенные, непреходящие вопросы.

Поэзия Баянова ценна прежде всего тем, что в ней отразились думы и чаяния простого человека, свободные от всего, что наплывает чуждыми идеями, настроениями с той стороны света, где заходит солнце. Герои Баянова имеют ярко выраженный национальный характер. Они привыкли жить «доверчиво и просто» и «не просить иной судьбы». Ведь их личные судьбы слиты с судьбой Родины. Сегодня, когда происходит расшатывание системы нравственно-эстетических ценностей, когда средства массовой информации делают далеко не безвредные выбросы в атмосферу нашей духовной жизни, — я имею в виду продукты, а точнее, суррогаты рок-«культуры», лишенной национальных корней, — мне кажется очень современным внутреннее беспокойство, пронизывающее поэзию Виктора Баянова: не разучиться бы нам радоваться, грустить, чувствовать по-русски...

И, когда в клубах эстрадного дыма извивается, дергается, кликушествует очередной новоявленный «кумир» перед многомиллионной аудиторией, я снова и снова думаю о том, что все его трагедии и восторги не стоят выеденного яйца, ибо они оторваны от основополагающего вопроса — «какой земле принадлежим», без него нет и не может быть истинного искусства, как не может быть художника без Родины. Слушая, как изнывают исполнители «современных» песен оттого, что «ты не Челентано», или что в недостижимой дали — желанное Средиземное море, где «друг к другу тянутся руки», — мне становится «обидно за своих поэтов». За тех, что жили и живут рядом с нами, в нашем краю и, не избалованные публикой, скромно несут свой крест и всем своим творчеством, всей своей судьбой утверждают это взыскующее тревожное

«Чи вы?». Виктор Баянов — один из тех российских поэтов, которые — в меру своих сил и способностей — создают в обществе «зацепку за жизнь», — река времени неумолимо сносит кого-то в беспамятство, размывает духовно-патриотическое сознание.

Человеческие сердца — это «высоты, которых отдавать нельзя» (В. Федоров). И чем проще, яснее душа, тем выше, неприступнее она для темных сил эгоцентризма. Чувство Родины всегда питало и будет питать животворными соками национальное самосознание, без него нет и не может быть личности, цельного характера. Только тот, кто ощущает кровную, «смертную связь» с историей, бытом родного края, духовным опытом народа, может носить звание современного человека, гражданина — так я понимаю заветные мысли поэта Виктора Баянова.